

Фита

Леонид Гиршович

Фита



НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

2024

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Г51

Редактор серии — Д. Ларионов

Гиршович, Л.
Г51 Фита / Леонид Гиршович. — М.: Новое литературное
обозрение, 2024. — 384 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-2554-9

Собранная в книге проза Леонида Гиршовича — это разговор об опыте вечной инаковости и чуждости, связанный с биографией писателя и в то же время внеисторический. В заглавной повести биография печатника Ивана Федорова, рассказанная на двух языках, становится поводом для разговора о вечном противостоянии интеллектуала и власти, а также сложных отношениях самого автора с русской историей и культурой. Другие тексты автора притворяются то записками, то вариациями, то письмами — за этой жанровой игрой стоит попытка увидеть свое «я» с иронической дистанции и разобраться, из чего оно состоит. Организованное скорее как музыкальное произведение, чем как традиционная проза с линейным сюжетом, письмо Л. Гиршовича в самых странных пропорциях смешивает в себе разные компоненты — провокативность и стилистическую изощренность, вопросы идентичности и размышления о будущем человечества, а также тонкое внимание к историческим реалиям, советским и европейским.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

© Л. Гиршович, 2024
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024

Содержание

Фита	6
Рукопись, найденная в Белогорской крепости («Посмертные записки старицы Феодоры Кузьминичны»)	110
Рычи, Китай (Человечество: план Б)	151
Дареный сюжет. Приложение (Все, чего мы не хотим знать о сексе)	279
Клайпеда (Рассказ провокатора)	305
Автопортрет нарцисса в старости (Наброски тем) ..	337

Блажени изгнани правды ради...

*И поселился в преименитом граде Львове,
яко во след ходяще некоего богоизбранна мужа.*

Здоровье Курбского, друзья!

Оригинал

Ох тебе, калищу убогу! От чрева матере своя ходити немощну. Лише в возке сволокчи леть. Еже без помощи чужей снадал еси, ино брашно всяций раз наземь исплескаше. Поелику несовладый руци своя ни нози, трясеши удом сим до излития. Ложка со щц елижды мимо рта... рте... рту. Туне тычется. Такожде и осенити себя невмощь. Персты возлагаеши камо ни попадя: не на рамо, ано под мышцею, не на чело, ано в носе ковыряеши, не на перси, а студно и сказати кудюю: камо Макарий и теляти не ганивал. Темже и в церковь пред иконы святыя не пуцаша: страхолюд. Ано морды-то страшныя корче, уста разведя, аки под пыткой лютою. В чем бо вины твоя не веси. Да и повинитися восхощеши — не возможеши. Един батюшка тебя и разумеет: кой зрак имаше бо, такожде и глаголаше. О четырехнадесятих летех. Пореклом Ивашко.

Дондеже про себе мняше, словеса тиш аки нитка бисерна. Отнюду и помышление те имати? На свет зряше токмо сквозе пузырь говядый, дома бо седе. Овогда повозит Иулиашка-девка в ведро подышати. Все веси по слови отцеве, егоже по-своему иначеши, аки в криве зеркале зрыче да вкосо. Умали убо скорбь. Батюшка рех: «Не дале ты от образа истинна, неже на нозех своя ходящи да очесама своя воззрящи. Темже не печалуй себе, сыне, остави сие породившу тебя. В непостигновении мира едины есма: аки аз есмь в своем, ты еси в своем, и со смердом князь ту в ровень. Кышждо раб в вертепе есть. Також калечен, аки ты еси, такожде, якоже ты, рожден во тме и, елико помнив, в утробе горы тоя токмо пребыше, в узех кованых ово на нозех, ово на выи: главы не обернути опако. А за спиною скважня, свет источающа, и яко сенью игрецы по

Вольное переложение с неведомого языка

Ах ты, инвалид несчастный! Колясочник от рождения. Руки-ноги ходят в другую сторону. Без посторонней помощи кушать — все на пол выплескивать. Ложка со щами тычется мимо рта... рта... рту... Перекреститься не в состоянии. Вместо плеча палец под мышкой промахивает, вместо лба в носу ковыряет, а вместо пупа и сказать стыдно куда попадает — куда Макар телят не гонял. В церковь к святой иконе приложиться не пускали: страхолюд. Рожи корчил, рот разевал, как под пытку, не имея в чем сознаться. Да и было б в чем — не сумел бы: как выглядишь, так и разговариваешь. Только папка тебя понимает. Четырнадцати лет, звать Ванечкой.

А про себя слова бисером нанизываются на нить мысли. Отколь и мыслям-то взяться? Сквозь пузырь бычий мало что видишь, безвылазно дома, изредка Уляшка-домработница в хорошую погоду покатает, свежим воздухом подышал чтоб. Все со слов отца, которые переиначиваешь вкривь и вкось, как будто все видишь в кривом зеркале. Батюшка утешает: «От подлинной картины мира, говорит, ты отстоишь не дальше, чем те, что повсюду своими ногами ходят и своими глазами все высматривают. Так что не горюй, сынок, предоставь это своему родителю. Мир непознаваем, это одинаково относится ко всем, включая тебя и меня, здесь и мужик князю ровня. Каждый подобен рабу в пещере. Инвалиды не меньше твоего: только в недрах и помним себя. Рождены во мраке, и ноги скованы, головы не повернешь. А из отверстия за спиной проникает свет, и на стене представление

стене представляша феатр. Зры сени сии точию и внемли эху многократну. И пря велика промеж рабы: де что сие назнаменует, и в совет не приидоша. Иде же различие твое от мене в помышлении истины?»

Но како изъявити вслух сие? Рот разверзится пенной средневековой пастью, и оттуда рычание: рцы... рцы... рцы... уф... тяжела шапка Мономаха. Цепное, oprичь батюшки всякому бессмысленно. Речи к себе, естли чаешь понимания. Внутрьдуду себя пребуди, а дареными батюшкой картинами прирастай, как Москва Сибирью. Что убо вне пределов сих, тому анафема, естли в размышлении истины все в равном извращении. И что овый сам высмотрит, и о чем ты от батюшки наслышан, все едино. Все феатр теней: пьеса, разыгранная на стенке. Не дает ошейник оглянуться на игрецов, каковы они по виду. Поди знай, сей и взаправду вельбелюд волхвский? А сеча, иде русские с татарвой рубятся и взрыв земли до облацев, — может, оно токмо соблазн? А той герой в высоком шишаке на экране, в багряннице поперх черненой стали, со сверкающими очима, разделенными защитительной стрелою по выгнутому носу орлиному? Чей-то шепот: «Царь!» А он никакой и не царь, никакого царя и в помине нету, тебя прельщают. Кто? Вскую? Что есть истина? Молчок. Ибо тайна сия велика есть.

Пламы адские познаше, кой мечтами блазнен. Враг человецы внушает их, и ты, отроче, игралище их. Рассудихом, кто допреж кого бе бо, курица овозе яйцо? Прежде ты, убоже, отлилса фитою: диавол, хвост подъяй содомского ради соития — эти меня!.. Сей дырке буква тая подобна, фетюком нарицаемая. Темже и взыграло в тебе мечтание жизни, яко самой ея не веси. Глумление над образом Божиим, Егоже подобие еси. Нагляделся на себе в купели, на несносность свою, с тех-то мест, что Уляшка омовает тебя. А в размечтаниях, кшим восхоти, тем обернешься. И воюеши, кого хочеши, и деу вызволяеши на свой смак: высокою ли ростом, пониже ли с веселой ямонкой на щечке, румяней аль белей, синеокою

театра теней. Видишь одни эти тени и слышишь бесконечные отзвуки чего-то. Об истинной их природе ведутся великие споры, но безрезультатно. В чем же разница между тобой и мной? Перед лицом истины все едино». (Ср. «Пещера Платона».)

А прорычи-ка такое внятно. Пасть себе порвешь, средневековый ты дракон на цепи, пузыри пускаешь: рцы... рцы... рцы... уф, тяжела шапка Мономаха. Один папка тебя понимает. Сам с собой говори да папку слушай, его умом обогащайся, как Москва Сибирью. Остальное на фиг, раз правды не узнать ни папке, никому. Представление теней на стене. А оглянуться на актеров ошейник не дает. Этот верблюд и впрямь старику Хоттабычу принадлежит? А битва с татарами и взрыв до неба — может, это мираж? А в богатырском шлеме с защитным клювом поверх доспехов плащ развеивается...

— Царь, — шепчет папка.

А он никакой не царь, никакого царя в помине нет. Киноартист. Тебя морочат. Кто? Зачем? В чем истина? Нет ответа, а есть великая тайна.

В аду гореть тому, кто эту тайну хочет подглядеть. Киномеханик — нечистая силища. Ты, парниша злокачественная, поле битвы. Пораскинь мозгами своими куриными: что было прежде, курица или яйцо? А может, прежде ты, калека мерзкая, был отлит в форме феты, по виду отверстия у дьявола, задравшего хвост? С чего, думаешь, эта буква фетюком зовется? Оттого и размечтался о том, сам не знаешь о чем. Курам на смех сотворен. Оскорбление Боженки, подобием которого папке с мамкой задано было тебя сотворить. Нагляделся сам на себя, ненаглядного, пока Уляшка тебя моет. И кем хотел — оборачивался, в кого хотел — превращался в фантазиях своих. Бил фашистов, спасал красавицу — то высокую белокожую, то пониже, с ямочками на румяных щечках, голубоглазую ли, кареглазую ли, трень-брень приму среди других

аль кареокую — трень-брень, скоморошью любимицу, аль белокурую неблазную: «Исполать тебе, добре молодцу, что лебедушку христианскую ослабил. Хотели поганные ею тешиться, княжнюю ростовскую, а вышло тебе, соколику».

Аль навыворот. Ты пленник российский, царица вражья тебя вводит во блазнь: «Ванюша, свет очей моих черно-пламенных, дахтиль сердца моего, дай надкушу. Егедыр-царь опостылел ми, опю его зелием, будешь царствовать, мохамеданом станешь». — «Дщерь Белиала, отыди, горчай смерти ласки твоя...» А в душе веселишься: невдомек ей, Сююнбек-царице, что блазнит тебя, сама ж блазненным твоим будучи, како и сам чьим-то блазненным сотворен еси. Вертеп в вертепе... Един в другом, другой в третьем. Подъятый мрежою со дна морского сундук, из коего утка вылетала, а в прободенной-то стрелю утице яйцо, а в разбитом том яйце игла, в игле же преломленной Кащеева смерть, а в смерти ж поправной, чай, пробуждение? Ано нет. Пещера пещеры моей...

Батюшка рече: «Главное прельщение Руси лепотою симетровой: сообразие на обе страны. Иван-москвин любит, когда левое от правого не различиши. Лепота! Красна нам симетрия в посулах вечности. Дескать коли жизни вечныя чаю, сиречь нескончания строки, то и безначалие у строки сей быти должно. Дескать и прежде, неже на свет уродиться, ты, Ванюша, горюшко мое, ты жил-се-поживал. Инаково по успени земном продолжения своего како чаеши? Пифагорьевы штаны на две страны равны. Дескать, чему предел не положен, тому и начатка несть. Максим претерпел за что? Прѣдбытиѣ глаголом не умел выразити. Грек был. А ему: не помышляет о вечности, не живет по понятиям христианства православного. Римскому обаянию подпаде. Латинствующице-то вовек не уразумеют, что аористос есть деяние прошедшее, вне времен сущее, а перфектум есть деяние в прошедшем совершенное, днесь сущее. Благодать наша им несподобна.

плясуний. А то непорочную блондинку: «Спаси Бог, добрый молодец, что христианскую девицу освободил. Хотели с нею исламисты поразвлечься, с княжной ростовскою, а вышло тебе, соколику».

Или наоборот. Ты российский военнопленный, которого вражеская царица завлекает:

— Ванюшка, свет очей моих чернопламенных, феник сердца моего, дай надкушу. Царь Егедыр опротивел мне, отравлю его. Будешь царствовать, Мехмету будешь молиться.

— Прочь, дочь Сатаны! Горше смерти твои прикосновения...

А самому смешно: царице Сююмбеке в голову не приходит, что она — твоя выдумка, специально, чтобы соблазняла. Как и самого тебя кто-то выдумал. Внутри одного хлева другой... Одно в другом, другое в третьем. Из сундука со дна морского утка вылетает, в пронзенной стрелой утке яйцо, в разбившемся яйце иголка, в сломанной игле Кошечеева смерть. Так же и ты. Уже ждешь воскресения, ан нет. Пещера пещеры моей... (То есть из одной камеры переступает в другую.)

— Любимая конфетка на Руси, — говорит папка, — чтоб симметрично все, на обе сторонюшки одинаково. Тогда красотища. Красота симметрии в том, что вечность слева, вечность справа (то есть «лево» и «право» не различают). Хочешь жизни вечной, чтоб строка не кончалась? Тогда чтоб и начала не имела. И до своего рождения, Ванюшка, горяшко мое, ты уже был. Значит, и дальше будешь, и после того, как жмурику слабают, будешь. Будешь в раю жить-поживать, добра наживать. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Вечность — это не только бесконечность, но и то, чему нет начала. За что Максим Грек схлопотал по шарам? Потому что грек был. Ему что глагол совершенного вида, что несовершенного. «Ах так! — говорят. — В жизнь до рождения не веруешь, после смерти лишь? Притворяешься православным, а сам на Ватикан работаешь?»